

ЮРИЙ АРАБОВ



ЧУДО

A S T

Юрий Арабов

Чудо

«АСТ»

2008

Арабов Ю. Н.

Чудо / Ю. Н. Арабов — «АСТ», 2008

Юрий Арабов – прозаик, поэт и сценарист культовых фильмов режиссера Владимира Сокурова. Автор романа «Биг-бит» (премия имени Аполлона Григорьева). В новом романе «Чудо» действие развивается вокруг необыкновенной истории. Девушка Татьяна собирает друзей потанцевать и, оставшись без кавалера, приглашает на танец... Николая Угодника. Но, схватив икону, она тут же застывает с ней, превращается в недвижимую статую – и никто: ни врачи, ни священник, ни «случившийся» в городе Н.С.Хрущев ничего не могут с этим поделать...

© Арабов Ю. Н., 2008

© АСТ, 2008

Содержание

ЯНВАРЬ	6
1	6
2	10
3	12
4	14
5	19
6	21
ФЕВРАЛЬ	24
1	24
2	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Юрий Арабов

ЧУДО

*Роман основан на реальных событиях, произошедших в г.
Куйбышеве (Самаре) зимой и весной 1956 года*

Кто-то летел по небу полуночи. Был он невидим, тонок и прозрачен, так что от всего его полета были слышны только взмахи легких, как снег, крыльев. Его видели схимники и поэты. Не те, кто ночью предпочитает спать, а если мучаются бессонницей, то морока, распирающая душу, мешает увидеть даже чайник, стоящий на плите.

Но если рассуждать логически, это был совсем не ангел, а просто ночная птица, заплутавшая в темноте и добирающаяся на ощупь до своего далекого гнезда.

Под ней раскинулся маленький город, деревянный, черный и глухой. Одинокие фонари раскачивались от снежной крупы, освещая неширокие улицы, заметенные снегом по горло, до резных наличников, до наглухо закрытых форточек. Родившиеся в пятидесятых еще помнят эти железные фонари, похожие на сорванные с голов шляпы. Они всегда скрипели и не всегда светили, потому что лампочки выбивали рогатками с земли, и если идешь ночью, с трудом отдирая калоши от вязкого снега, и слышишь в небе тоскливый скрип, значит – фонарь, пусть и не освещающий тебе дорогу, дает надежду, что он когда-нибудь зажжется.

В эту ночь спали все. Не спал только металлургический завод, вокруг которого и была нарублена эта рабочая закопченная слобода. Словно древний дракон, он выбрасывал в небо горящие искры, чадил и вздыхал, как туберкулезник, не находящий себе покоя даже глубокой ночью.

И птица пошла на снижение. Внизу промелькнула полоска замерзшей, словно ручей, реки. Завод с одинокой трубой, похожей на жерло наведенной на небо пушки, остался позади. Деревянная черная улица приблизилась к глазам.

Сугроб. Заиндевший наличник. Удар о стекло. И тишь. Только вой ледяной пороши.

ЯНВАРЬ

1

Клавдия Ивановна проснулась от незнакомого шума. Села на кровати, тараща глаза в темноту и запахивая на груди халат, в котором она жила долгими зимами, как черепаха живет в своем панцире. За окном синели есенинские бледные сумерки, но не молодежавой весны, а сумерки черного человека, придавливающего собеседника так, что невозможно дышать.

Тикали ходики на стене. Серый кот, лежавший в ногах, ощерившись, словно пушистый еж, поднял голову. Несколько потемневших икон в углу укоризненно и строго смотрели на тетю Клаву.

В противоположном конце комнаты посапывала на железной кровати Танька, и блестящие шарики в ее изголовье тускло отсвечивали рассветом. Я любил в детстве играть в эти шарики, отвинчивая и бросая их на пол. И оловянные солдатики, расставленные на полу, бежали и прыгали врассыпную.

Тетя Клава машинально оторвала листок с толстого, словно увесистый кирпич, календаря, и в глаза бросилось веселое досужее слово, напечатанное красной краской на грубой бумаге, похожей на ту, в которую заворачивали рыбу в продовольственных магазинах: «ВОСКРЕСЕНЬЕ».

И Клавдия Ивановна облегченно вздохнула. Это слово значило многое, например, то, что городок проснется не в шесть часов утра, когда пронизывающий холод навевает мысль о вечной зиме без надежды и оправдания, а встанет не раньше десяти, затопит печи, поставив на них закопченные чайники, и морозное небо окутает колючий черный дымок.

Ходики показывали начало восьмого, следовательно, в запасе был дремотный час, можно поваляться в постели, понежиться, переворачиваясь с боку на бок, чтобы железная сетка, на которой лежал матрас, залязгала и загудела внизу...

Но вдруг она поняла, что не может спать, что какая-то тревожная тайная мысль заставляет тело двигаться и трепетать. Вернее, не мысль, а незнакомый звук, грозный, как и любая неизвестность.

Клавдия Ивановна нащупала под собою тапочки, набросила на потертый халат подлатанный с изнанки ватник и встала на свои не слишком твердые ноги.

Потрогала рукой печку, которая оказалась, как человеческая плоть, слегка теплой, отпихнула кота, увязавшегося следом, и пошла на кухню.

Собственно, кухней служил небольшой закуток, образовавшийся за побеленным боком, здесь стоял деревянный стол без скатерти с мелким столовым скарбом. Этот столовый скарб, сделанный из серого олова, страшно жегся и обжигал губы до белой пленки. И потом уже, когда Хрущев поносил часть бараков, на пепелищах, оставленных после домов, валялись эти ложки и вилки, гнутые, в темных веснушках и родинках. Алюминий и нержавейка для столовой посуды были еще впереди...

Клавдия заметила, что форточка на окне приоткрылась, хотя она твердо помнила, что закрывала ее на ночь.

Крышка на кастрюле с наваренным накануне свекольником была отодвинута, будто хотела поздороваться. Чувствуя неладное, Клавдия Ивановна заглянула в густую красноватую жижу.

В ней чернел какой-то незнакомый предмет величиной с небольшой, прилипчивый к руке камень. Клавдия взяла в руки половник и подцепила комок, с ужасом разглядев небольшой клюв, слипшиеся перья, подернутые мертвой пленкой глаза...

Половник выпал из ее рук. Птица плюхнулась на пол, кот подбежал к ней и начал жадно слизывать с перьев застывшие жиринки.

– Чего, мама... спать-то дай!

В проеме между стеной и печью стояла сонная Танька, ледащая и поджарая, как вешалка, на которую накинута ночная рубашка. Только небольшой круглый живот, какой часто бывает у худых людей, указывал на наличие беспокойного тела, которому нужно было больше, чем разуму.

– По воскресеньям не спим... Когда спать-то будем?..

– Тут такое дело... Глянь!..

И мать с ужасом указала под собственные ноги.

– Ну и что? – сказала Танька, зевая. – Обыкновенный воробей.

– А как попал-то?

– Через трубу или... Ну да, через форточку. Повечерять захотел борщом. Прихарчился... и потонул.

– Прихарчился... Нет... Здесь не то... Боюсь!..

– А ну тебя к бесу! – Танька махнула рукой и пошла досыпать на свою железную кровать.

Клавдия Ивановна с ужасом кинула взгляд на мертвую птицу, которую облизывал кот. В затмении чувств возвратилась в комнату.

Открыла платяной шкаф, захватанный, как почтовая марка. Там на дне под старыми платьями и зипунами стоял деревянный чемодан со времен последней победоносной войны, выкрашенный грязно-зеленой краской, которая уже успела облупиться, с железными защелками, приспособленными под грубую мужскую руку. Такие чемоданы делали раньше кустари-инвалиды, тыловые крысы-бобыли и обменивали военным на сухой паек, а те, проклиная ущербных, брали...

Вещи в шкафу были обсыпаны нафталином, белая пыль, как пепел, лежала всюду. Тетя Клава сдула ее, чихнув, щелкнула вечным железом и отворила военный сезам.

На внутренней стороне крышки были пришпилены газетные фотографии Ленина, Сталина, Маленкова и артиста Самойлова. В самом чемодане лежала почетная грамота с усатым профилем, пачка облигаций государственного займа, бесполезных, как зубная боль, несколько старых пустых кошельков и дореволюционный сонник без обложки, который и искала Клавдия Ивановна.

Она открыла заветную книжку и, найдя нужную букву, прочитала по складам, шурясь и не надевая очков:

– *«Птица, во сне – неожиданная весть, негаданное письмо, послание от друга...»* Нет, не то... – Она перевернула замусоленную страницу и отыскала, наконец, нужное: – *«Птица в доме – к тяжелой болезни, расстройству в делах, внезапной смерти, к безумию...»* Слышь, Танька, к безумию!.. – Последнее слово она произнесла с каким-то подвывом, отчего дочь даже вздрогнула.

– Чего заголосила сдуру? – спросила Танька душевно, не вставая с кровати. – Верить-то чего всяким шалаболам?

– Не шалаболы, книга ведь, – сказала Клавдия.

– А в печку ее!

– Нельзя. От матери досталась.

– А что, мать-то твоя верила?

– Верила в приметы. А на иконы только крестилась.

– А ведь и вправду буду безумная, – пробормотала Танька, потягиваясь. – От любви буду.

– Не безумная, а бесстыжая. Ты бы разведала... Может, у него жена, дети?..

– Нет никого... – И помолчав, добавила: – А хоть бы и были. Мне-то что? Холодно нынче. Затопила бы.

– Холодно. Конечно, холодно, – передразнила ее Клавдия. – Не май на дворе, а дров – в обрез. До весны не хватит.

– А мы, как дядя Антип. Собственной избой топить будем.

– Ну нет уж. Чтоб свой же дом распилить... Не бывать этому.

Кряхтя, закрыла свой чемодан, спрятав его за демисезонным пальто. Пошла за печку, села на ведро по малой нужде, уставившись в замороженное стекло.

– Антип, – сказала она себе. – Что мне твой Антип?

Антип был инвалидом без ног, выдававшим себя за героя войны. Если бы он жил, предположим, в Москве, то его непременно арестовали бы, сослав на Валаам или куда подальше, так как подобные человеческие обрубки позорили социализм и от них, по негласному приказу, избавляли жителей больших городов.

Но Антип жил в слободе, где позорить было, в общем-то, некого, и его не тронули. Несмотря на то, что у него присутствовали лишь две конечности из четырех, он орудовал этими двумя весьма умело, подрубая примыкающий к дому сарай и топя этими дармовыми бесплатными дровами собственную печь.

Клавдия встала с ведра и прикрыла халатом голую поясницу. Ей показалось, что кто-то смотрит на нее с улицы.

Она вынесла ведро на заснеженный двор. Собака, помесь кавказца и русской дворняги, увидев хозяйку, затаивалась и заскулила, высунувшись из будки.

Валенки вязли в наметенной за ночь крупе. Клава протоптала дорожку к силосной яме, вырытой неподалеку от деревянного нужника, которым пользовались только летом, да и то с опаской, потому что он продувался насквозь залетными ветрами, и вылила в свежий снег содержимое ведра.

Городок к тому времени зашевелился, задергался, будто через недвижимое тело пропустили веселый электрический ток. Серые струйки дыма из многочисленных изб валили в морозное небо, и на снегу уже появилась угольная пыль.

Но воздух не радовал Клавдию Ивановну, а пыль не огорчала. Уже множество лет, наверное, с середины войны она жила в каком-то тумане, будто на мозги ее была пролита липкая нефтяная пленка, мешавшая общаться с людьми, мешавшая что-либо понимать и оценивать. Мир для нее состоял лишь из острых углов, выступавших из-под черного нефтяного развода, и на эти царапающие душу углы она еще как-то реагировала. По радио объявили, что кончилась война – немцев она фактически не видела, а видела только беженцев. Что ж, хорошо, кончилась так кончилась, теперь жизнь наладится и станет намного лучше.

Про немцев она слыхала разное, в основном то, что самыми страшными являлись каратели из СС, остальные же были солдаты как солдаты – охочие до баб и дармовой жратвы, спящие на ходу от усталости и бредущие безропотно на Восток, как стадо баранов. В победе Клавдия Ивановна не сомневалась. Более того, здесь, в глубоком тылу война эта рассматривалась как нечто небывалое, выдуманное кем-то нарочно, на спор или сдуру. Но разве придет кому-то на трезвую голову посылать людей из такой маленькой страны, как Германия, в такую неповоротливую махину, как Советская Россия, где заблудиться можно тут же, в ближайшем лесу и никогда оттуда не выйти? Она и сама плутала в детстве аж два дня в небольшом на вид околке, когда отправилась за ягодами. День был серый, без солнца, она быстро спуталась и спала ночью на голой земле, подложив под себя еловые ветки. А потом уже, на следующий день вышла домой по колокольчику – какая-то безумная корова, отбившись от стада, вышла на Клавдию, страшно испугалась и понеслась обратно во всю прыть. Колокольчик на ее груди звенел, и обе они были дома через каких-нибудь полчаса.

А вот еще один угол. Танька отыскиала себе какого-то хахалю (десятого по счету?) областного значения, и на это тоже нужно было откликнуться, сказать пару слов, напутствовать, пожу-

рить... И третий угол, самый опасный – мертвая птица в кастрюле с супом. Что это, для чего и откуда?

Вдохнув колючий воздух и забыв покормить Рекса, Клавдия Ивановна возвратилась в избу.

2

Свекольник пришлось кипятить заново. Вытащив котелок из поддона печи и подбросив в нее несколько сухих поленьев, чтоб веселее трещали, Клавдия пошла из кухни в комнату.

Разлила суп по мискам, и Танька тут же начала его хлебать своей чуть согнутой посередине ложкой. Из большого, как зонт, репродуктора со стены зазвучал хор имени Пятницкого. Слова были неразборчивы, музыка тоже, так как репродуктор был приспособлен скорее под речь, поставленную дикцию, зачитывающую сообщения ТАСС, нежели под музыку, которая всегда напоминала досужий комариный писк.

– Вечером... – пробормотала Танька, – ты вот что...

– Да знаю, – сказала Клавдия. – Сама уйду. До каких?

– А это как получится, мама, – и в ее голосе впервые появилась какая-то душевность. – Не думаю, чтоб слишком... После двенадцати все разойдутся, завтра же на работу.

– И он будет?

– Должен.

– Ради него и затеваешь...

– Совсем не ради, – возразила Танька. – Молодым отдыхать пора. Тем более в выходной.

– А раньше вообще выходных не было, – сказала Клавдия, – я знаю, я помню.

Ей показалось даже, что она помнит радостные советские довоенные времена, когда дней недели вообще не существовало, а был просто первый день шестидневки, второй день, третий... Жизнь являлась условностью, и от этого казалась легкой.

– Ну и чего вы добились? Работали, работали, и ничего. Иконы... Изба эта, – пробормотала дочь с раздражением. – Зачем иконы-то здесь висят? – она подняла глаза на угол. – Лица черные, ничего не видать... Ты ведь не молишься, а они висят!

– А я и не знаю, как, – отозвалась Клавдия, опасливо обернувшись, потому что сидела к ним спиной. – Мама не научила.

– Ты вот что... Убери их. Перед людьми меня позоришь. Николай придет, увидит... На смех подымет.

– Куда ж мне их?

– В сенях пусть стоят или в сарае.

– Это грех, в сарае-то!

– Всё. С меня хватит!

Танька порывисто встала со своего места и бросилась к киоту. Вскочив на стул обезьяной, стащила из угла вниз Богородицу, трех святителей и уже схватилась за Николая Угодника...

– Его-то хоть оставь... Николу-то!

– Николу, говоришь? – И Танька вдруг хитро улыбнулась. – Если Николай, то пусть стоит. Слезла со стула, отряхнула ладони от пыли и паутины. Озорно спросила:

– В печку или как?

Со смехом открыла печку и попыталась запихнуть в нее трех святителей.

Мать, скуля, бросилась на Таньку и вырвала доску из ее рук.

– На привидений похожи, – сказала Танька, бросив беглый взгляд на неведомые изображения. – И чтоб я их в доме больше не видела!

– Ладно, я их людям отдам, – пообещала мать.

– Да кто их возьмет?

– В Москве, я слышала, есть люди, – рассудительно сказала Клавдия Ивановна. – Берут. И даже деньги платят.

– А где Москва-то? – спросила ее Танька.

Клавдия Ивановна пожала плечами.

Этот вопрос был для нее риторическим. В Москву она никогда не хотела, добраться до нее не могла, ибо в точности не знала, где она. Но опытные люди говорили, что если перевалить через горы и проехать еще километров восемьсот, то покажутся вскоре огненные башни, и душа от удивления вылетит из груди.

Клавдия вытерла икону о свой халат и поставила ее на пол.

– У тебя тройчатка есть? А то голова раскалывается.

– Меньше нужно гулять, Таня, – сказала мать с надрывом, потому что речь шла о наболевшем.

Возвратилась к столу, отломил кусочек черного хлеба и корочкой подобрала с тарелки остатки супа. Отправила хлебушек в рот. Промокнула губы кусочком байковой ткани, который вытащила из кармана халата.

Сделала радио потише и полезла в буфет за лекарством.

Что это была за тройчатка? Неведомо. Но я застал еще те достославные времена, когда из всех лекарств было лишь два: тройчатка и пирамидон с анальгином. Зато и лечились ими от всех болезней, быстро и действенно. «У вас тройчаточки не найдется?.. Дайте мне, что ли, тройчаточки!..» И опрятная, чисто одетая дама в аптеке, похожая на школьную учительницу, отдавала в руки маленькую коробочку, похожую на спичечную, но только много тоньше, на которой было написано это сладкое слово «тройчатка»!..

3

Храм Всех Святых стоял на окраине города недалеко от металлургического завода имени Серго Орджоникидзе. Собственно, горку, на которой белела колокольня, и металлургический комплекс отделяла друг от друга хилая речка, слегка примерзшая от сильных морозов, которые ударили здесь с ноября. Полностью река не замерзала никогда, потому что завод спускал в нее отходы, и они катились ниже, в близлежащие деревни. Рыба ходила не так, как до войны, когда она заплывала в подолы баб, полоскавших белье, но все же была – карась, уклейка, плотва, иногда попадались даже веселые щуки, которых ели сами, а остальной рыбой подкармливали скотину.

Роза ветров несла промышленный дым прямо на церковь, так что немногочисленный клир вечно кашлял, сморкался в платочки, отбывая непростую повинность то ли перед невидимым Богом, то ли перед собственной совестью.

Клавдия Ивановна вошла с авоськой через остатки разрушенной ограды на церковный двор.

Был он странным. Из снега торчали несколько ветхих крестов и могильных памятников. Кладбище было частично снесено, и на большой куче промерзшей глины победно стоял заглохший трактор. Бурые кирпичи колокольни, изъеденные ветром, смотрели на мир из-под облезшей штукатурки, говоря, что все проходит, и дурное, и хорошее.

Настоятель отец Андрей пилил дрова неподалеку от своего маленького одноэтажного дома одноручной пилой. Делал он это с видимым усилием, из-под скуфьи струился пот и залеплял глаза. Бревно было обледенелым, толстым и хотя лежало на козлах, дело продвигалось медленно.

Поставив авоську на снег, Клавдия Ивановна подошла тихонько к батюшке.

– Я вот что... – пробормотала она, с трудом подбирая слова. – Вас забыла, как звать...

Настоятель посмотрел на нее мутным взглядом, продолжая пилить. Несмотря на свои тридцать с лишком лет, он выглядел подавленным и старым в основном из-за времени, которое носил в себе. А было это время в несколько тысяч лет, взятое им из Писания и кое-как приспособленное под собственную мятежную душу.

– Чего тебе? – спросил он после паузы.

– Я, гражданин поп... Я тут вам принесла... Вроде подарка.

Она кивнула на авоську.

Батюшка опасливо посмотрел на снег и ничего не сказал.

– Уже отслужили сегодня?

Он не ответил.

– А я слышала, вас под кинозал оборудовать будут.

– Этот вопрос еще окончательно не решен, – пробормотал настоятель.

– Но ведь людям же нужно кино, так ведь?

Батюшка подышал на озябшие руки. Потом закашлялся.

– Ты крещена? – спросил он ее хрипло.

– Да вроде.

– Тогда почему спрашиваешь про кинозал?

– А что здесь такого? – не поняла она. – В городе об этом все говорят...

– Ну и доволен народ?

– Доволен. Но не всем.

Батюшка отер рукою иней с бороды. Он вдруг почувствовал в душе слепую давящую ненависть. Обычно, когда это происходило с ним, он клал на свои плечи и живот торопливый

трехперстный крест. Но сейчас он почувствовал, что ему стыдно перекреститься перед ней. Что этот жест будет уликой против него, ничего не даст, а только ославит перед людьми.

– Дети есть? – спросил он глухо.

– Дочка.

– И тоже такая, как ты?

– Это вы про что?

– Кино любит?

– Любит. Из-за темноты. Они там целуются.

– Не крестила ее? – выдохнул он из себя, как зверь выдыхает вой.

– А зачем?

– Иди отсюда, – пробормотал настоятель.

– Ладно. Прощайте.

Клавдия Ивановна вытряхнула иконы на снег, как вытряхивают мусор, спрятала авоську в карман драпового пальто на ватине и пошла восвояси.

Настоятель приблизился к иконам, бегло взгляделся в их лики. Смущение оставило его. Он поцеловал каждую, несмотря на то, что Клавдия могла это видеть.

– погоди! – крикнул он вслед. – Как звать-то тебя?

Она остановилась у заглохшего трактора.

– А это вам зачем?

– Молиться за тебя буду, – выдавил он, потому что так было надо.

– Да не стоит, – махнула она рукой со смехом. – Я же не верю!

Ей показалось, что это было с его стороны ухаживанием, крючком, заброшенным в душу. Теплая волна поднялась от живота к горлу. Она снова почувствовала себя молодой.

– А если б твоей дочери приказали покреститься? Что бы тогда... – спросил отец Андрей, прочтя по глазам ее ложное чувство и потрясенный такой реакцией.

– Кто приказал?

– Не знаю, кто... Правительство. Власти. Отвела бы ко мне?

Клавдия Ивановна пожала плечами. Она не поняла, о чем идет речь. Власти никогда такого не приказывали. И в ближайшем будущем приказать не могли.

Вышла через разрушенные церковные ворота. Чувствуя, что он смотрит ей вслед, выпрямила спину и гордо откинула голову назад.

А настоятель снова возвратился к своей пиле. Бревно надо было не только перепилить сегодня, но и переколоть. И это гарантировало, что вечером с семьей он не замерзнет. Оно было осиновым, это бревно. И гореть должно было жарче и дольше, чем березовое. Пусть с ленькой, голубоватым пламенем, не стреляя и не шутя, как березовое...

4

Инвалид без обеих ног развернул во всю ширь свою могучую гармошку. Оказалась она особенной, необыкновенной, потому что на складках мехов была нарисована голая восточная женщина с веером в руке.

– Давай, Василиса, согрей, – сказал ей интимно инвалид и весело заиграл «Утро красит нежным светом...», правда, несколько фальшиво и сбиваясь с ритма.

– Ну и гармошка у тебя, дядя Антип, – раздумчиво произнесла Татьяна, стоявшая напротив. – Прелесть. Похабщина.

– Это музыка моя верная, – ответил инвалид, безбожно фальшивя.

– А ты, поди, и спишь с ней, с музыкой? – осведомился молодой человек за спиной у Таньки, который раскрывал деревянный круглый стол, ставя во внутрь его тяжелую перегородку.

– А тебе что, завидно?

– Не завидно. А интересно.

– Василиса от меня отдельно живет. В коробке, – объяснил инвалид, имея в виду голую женщину и не переставая играть. – А без коробки музыка портится.

Мышцы Таньки пришли в движение. Она топнула ножкой на высоком каблуке разок, второй... Прошлась, стуча подошвой, по периметру комнаты, сметая пыль из неподметенных углов и заставляя мышей внизу прижиматься друг к другу и прятаться. Швы на ее черных чулках натянулись, лодыжки стали твердыми, как кегли. Лицо пошло пятнами.

– Нет, – сказала она вдруг. – Не танцуется.

Остановилась посередине комнаты и с укором поглядела на инвалида.

– А я могу другое, – сказал тот. – «Амурские волны» и «Марш монтажников-высотников».

– Какой там марш, дядя Антип? – искренно возмутилась Танька. – Ты понимаешь, что у меня журналист будет? С области! С центральной газеты! А ты со своей голой музыкой будешь здесь трындеть!

– И хорошо, – не сдался тот. – Пусть он про мою голую музыку напишет, а не только про надои.

– Да что с тобой говорить, ты же во!.. – Танька постучала кулаком по деревянному косяку. – А сажайте его на печь, ребята!..

Двое здоровых парней подхватили дядю Антипа под белые ручки и вырвали у него гармонь.

Он умудрился укусить одного из них, а второму плюнуть в глаза. Но это не помогло – инвалида забросили под самый потолок, на печь, а музыку уронили в углу, сделав бесхозной и мертвой.

– Василису отдайте, гады! – кричал он. – Музыку обрат верните!..

– Ничего не получишь, – ответила ему снизу Танька. – Василиса без тебя отдохнет. А водки ему дайте.

Тот, что раскладывал стол, плеснул в стакан «Московской» из пузатой бутылки с маленькой зеленой этикеткой и протянул инвалиду на печь. Тот залпом махнул стакан, занюхал рукой и вслух заплакал.

Все от его слез почему-то успокоилось, а Татьяна заглянула за печку. Мать сидела в закутке, сжавшись и поблескивая глазами, похожая на худого пушистого зверька.

– Ты ж обещала!.. – напомнила ей дочь.

– Соседка вышла куда-то, – сказала Клава. – Куда ж мне идти, на мороз?

В это время дверь в избу отворилась.

На пороге появились двое парней, несших в руках радиолу «Урал». У радиолы был зеленый глаз, который ловил все станции на свете, правда, с помехами и неразборчиво. Полированная деревянная крышка откидывалась сверху, и под ней находился двухскоростной проигрыватель грампластинок на 78 и 33 оборота.

– Ставьте на подоконник, – распорядилась Танька. – А что крутить будем?

– А вот что, – один из принесших «Урал» открыл свой портфель и вытащил оттуда рентгеновский снимок.

Танька посмотрела его на просвет, различив смутно грудную клетку и легкие, похожие на футбольную камеру.

– Это ж мертвец! – не поняла она.

– Не мертвец, – сказал парень. – Мертвец молчит, а этот играет.

– А чего-то холодно, – передернула плечами Танька. – Ты бы, Петь, затопил, не растаял бы...

Другой парень, что принес приемник, присел у печи и начал над ней колдовать.

А Танька снова зашла в закуток.

– Идешь, что ли? – сказала она нетерпеливо. – Сейчас уж Николай будет!

– Что-то он не торопится, – недовольно промолвила Клавдия Ивановна, вставая с табуретки и натягивая на плечи ватник.

– Обещал к семи, задержался, значит...

Клавдия Ивановна застегнулась на все пуговицы и вышла из своего укрытия.

Изба тем временем наполнилась гостями. Пришли трое дородных девушек, изображавших сублищность, напомаженных и страшных, как смертный грех. Глядя на них, хотелось заметить: «Широк русский человек...», но сузить их не представлялось возможным, раз уж сама жизнь их не сузила.

Танька расцеловалась с ними, причмокнув, словно вампир.

– Меня танцевать возьмите, – подал с печи голос дядя Антип. – А то я здесь под потолком пропаду.

– ...ну что, так и растопить не можешь? – спросила Петьку Таня, схватила с полки банку с керосином и плеснула со всего маху в печку.

Внутри печи что-то вспыхнуло, взорвалось и повалил из нее черный адский дым. Изба наполнилась смрадом.

– Ты же заслонку не открывала, дура, – сказала, кашляя, Клавдия Ивановна.

– А черт с нею! – беззаботно ответила Танька, но заслонку тем не менее отворила.

Кто-то распахнул окно на улицу.

А радиолы тем временем крякнула, всхлинула, будто очнулась от тяжелого горя. Кости на рентгеновском снимке захрипели под адаптером с корундовой иглой, ожили, зашевелились, зажглись неведомой жизнью, как при Страшном суде. И вдруг из динамика жажнул «Рок вокруг часов» Билла Хейли, искаженный почти до неузнаваемости кустарной некачественной записью. Смешавшись с морозным воздухом, он оказал на аудиторию электрическое действие.

Все начали топтать ногами и плясать «русскую» слободскую, если такая существует на свете, то есть приседая, выбрасывая вперед руки и имитируя радость, которая рвется из груди.

– И я... Я с вами! – заорал с печи инвалид.

Какой-то парень стащил его вниз и начал с ним кружиться, прижимая к плечам, как девушку.

– Иди... Иди отсюда, мам! – крикнула Танька на Клавдию, наскочив и чуть не сбив ее с ног. – Или мы тебя уьем!..

– Иду... А Николай-то твой... здесь? – спросила непонятливая мать, которая вечно старалась вникнуть именно в те вопросы, которые не поддаются никакому вниканию.

Но здесь веселье вдруг сдулось, как проколотый воздушный шар. Резко погас свет. Комната погрузилась в крошечную тьму, и радиолы с Биллом Хейли медленно заглохла, проворачиваясь по инерции и превращая баритон рокера в чудный волжский бас.

– Опять свет вырубил! – с отчаянием сказал кто-то.

– Может, пробки? – спросила Танька с надеждой, которая умирает последней.

– Да нет, это по всему поселку.

В самом деле, за окном была египетская тьма.

...Свет тогда выключали повсюду. От грозы, ветра, морозов и без всяких видимых причин. В маленьких деревянных городках, похожих на географические прыщички, и в больших каменных наростах, как Москва. В смутном детстве я помню, как сидел, вжавшись в диван, и слушал какую-то страшную сказку из маминых уст. И хотелось, чтобы эта тьма никогда не кончилась, потому что она не только пугает, но может скрывать и защитить...

– Ничего, керосинку зажжем, – нашла выход Танька.

Мать тем временем достала с буфета керосиновую лампу и запалила горящей спичкой фитиль.

– Теперь я вам нужен... Послушайте, люди! – И инвалид развернул свою Василису во всю нешуточную ширь.

Он заиграл «По диким степям Забайкалья...», но музыка его навевала лишь тоску, потому что освещение теперь было тусклое, интимное, с тенями на потолке и задумчивостью в сердце, которая грозила перерасти в отчаяние.

– Нет, – отрезала нервно Танька. – Цыгана давайте! Цыгана тащите сюда!..

– Ну, я пошла, – решила наконец Клавдия Ивановна. – Гуляйте тихо.

И вышла через сени на двор.

В темноте она видела, как вслед за ней выбежал из избы Петька и кинулся в близлежащий дом.

Из конуры выглянула собака, начав тереться об Клавдию Ивановну и скулить.

– А у меня ничего нет, – сказала псу тетя Клава. – Пустая. Что после них останется, – она кивнула на собственный дом, – то твое.

Вдруг звякнули струны гитары, ударила об забор деревянная дека. В темноте шли двое: один – с гитарой на плече, без шапки, бородатый и черный, как негр. Следом за ним семенил Петька и отчего-то громко смеялся.

Собака истерично залаяла.

– Нельзя, Рекс, свои! – попыталась успокоить его тетя Клава.

Двое вошли в дом и затворили за собой дверь.

Клавдия Ивановна присела на обледеневшую скамеечку и подперла голову рукою, – идти было решительно некуда, разве что залезть в конуру к Рексу и греться вместе одним бездомным воздухом. Продержаться на скамейке можно было минут сорок, потом, решила Клавдия, зайдет тихонько в дом и ляжет хотя бы в сенях. Она не испытывала злости к людям, которые выгнали ее на мороз, не испытывала вообще никаких чувств. Все то же масляное пятно разлилось в голове, делая ее ко всему равнодушной. Было только жаль, что у нее нет шапки-невидимки. Тогда бы, надев ее, Клавдия Ивановна забралась прямо на печь, и никто не заметил, и можно было б дремать до утра.

Она услышала, как гортанный мужской голос прокричал внутри дома:

– Чавела!..

Ладонь ударила в струны, и они фальшиво и подло задребезжали. Клавдия зябко вздрогнула. Погром только начинался и, несмотря на отсутствие электричества, грозил затянуться за полночь.

Если бы тетя Клава заглянула в окно, то ей бы открылась фантастическая картина.

Света по-прежнему не было, зато чадающая керосинка отбрасывала на стены и потолок романтические тени. Вся компания усиленно топала ногами по деревянному полу, изображая цыганочку, так как под музыку косматого гитариста ничего другого изобразить было нельзя.

На полу и столе валялось несколько початых бутылок водки. Бородатый цыган бил в струны и что-то орал в темноту. По-цыгански он знал только несколько слов, но держался за них, как за спасительную шлюпку, потому что с ними была связана не только память о матери, которая гадала на местном железнодорожном вокзале, и отце, бывшем неплохим сапожником, но с этими непонятными для него самого словами сопрягалось чувство ветреной вольности, быть может, мнимой. Он не считал себя, как они, советским человеком, он считал себя прежде всего цыганом, который может однажды послать все к чертовой матери и уйти куда-нибудь в поля. А они, эти собравшиеся здесь люди, любили его именно за это, не догадываясь, что бесколхозных полей давно уж нет, вольности – тоже, а есть одна расстроенная гитара и косматая голова.

Дядя Антип, рискуя быть раздавленным, тихо спал в углу, накрывшись своей искусственной Василисой и мечтая во сне о том, чтобы она однажды ожила...

– А мне танцевать не с кем! – с надрывом прокричала разгоряченная Танька, рванув платье на груди. – Не с кем, сучки!..

– А где ж Коляка твой? – взвизгнула одна из девиц.

Танька только в отчаянии махнула рукой.

Взгляд ее уперся вдруг в иконостас, вернее, в то, что от него осталось.

В темном углу угадывался лик лысоватого старца с короткой седой бородой и суровым, не обещающем послаблений, взглядом. Она не знала, что это за старец и для чего он, не знала, что в дремучие достославные времена этот старец сильно прижучил одного экспансивного еретика, ударив кулаком прилюдно, но зато запомнила его имя от матери.

Ее вдруг осенило.

– Есть у меня кавалер... Нашелся!

Цыган еще раз вдарил кулаком по гитаре, разгоняя кровь в ее железных струнах. Все зашлись в каком-то неистовстве.

Танька поставила в угол табуретку, взобралась на нее и стащила вниз Николая угодника.

– Дамы приглашают кавалеров! – заорала она подслушанную где-то фразу.

Спрыгнула вниз и, прижимая икону Николая к себе, пустилась с ним в пляс.

...Клавдия Ивановна в это время раскачивалась на скамейке, борясь с холодом и обхватив саму себя руками. Под нос она пыталась мурлыкать странную песню, которая просилась из головы наружу:

*И на юбке кружева,
И под юбкой кружева,
Сразу видно, сразу видно, –
Лейтенантова жена...*

Песня была не совсем приличной и более подходила армейским людям, например доблестным чекистам или бесстрашным охранникам в концентрационном лагере. Но петть ее было довольно сладко, тем более что других песен Клавдия не помнила, разве что из «Свинарки и пастуха», но свинарка как-то не ложилась на ее сегодняшнее настроение.

Внезапно цыганочка в доме кашлянула, сбилась и, окончательно подавившись, прервалась.

Наступила гнетущая тишина.

А потом кто-то коротко и истошно закричал по-звериному.

Открылась дверь. Тете Клаве вдруг показалось, что в сенях промелькнула на секунду яркая молния.

Из дома выскочил Петька и молча помчался вниз по улице. За ним, хромая, выбежал цыган без гитары, еще чернее лицом, чем был прежде. Куда он бежал? В поля? На волю? Следом, давя друг друга, спотыкаясь и падая в снег, бросились во двор все остальные гости, без шапок, без пальто, мигом протрезвевшие и на себя не похожие.

Все, кроме ее дочери Таньки.

Рекс почему-то не лаял. Более того, забился в конуру и не подавал признаков жизни.

Клавдия Ивановна почувствовала, что случилось нечто ужасное, такое, что может перевернуть миропорядок, поставив все под сомнение. Нефтяное пятно в ее голове на минуту провалилось.

С опаской взошла она на крыльцо и заглянула через сени в комнату.

Керосиновая лампа стреляла, догорая на столе.

В углу по-прежнему крепко спал инвалид.

5

Столяра Павла Игнатьевича разбудили, постучав в окно. В это время он видел нудный и тревожный сон про то, что перед ним лежит тяжелая чушка, которую нужно взять рубанком. Но не дается проклятая чушка, выскакивает, как Буратино, куда-то вбок, и хоть бы одна стружка с нее упала. И во сне говорит кто-то Павлу Игнатьевичу хриплым голосом вскипевшего чайника: «Нужно не рубанком брать, а фуганком!..» «Как же фуганком, не понимает он, – когда чушка сделана из железа?..» «А ты все равно фуганком чушку возьми, – советует тот же невидимый голос. – Или ты не мужик? Это будет понадежней твоего рубанка!» «Ладно, хорошо», – соглашается Павел Игнатьевич и вдруг понимает, что бесполезно, что это одно и то же. Что одна буква в начале «р» или «ф» ничего не изменит. А чушка – она всегда останется чушкой, тупой, спесивой, неповоротливой, словно медведь, вещь в себе, которую нельзя сделать вещью для себя ни рубанком, ни скальпелем, ни, тем более, усилием хрупкой человеческой воли.

Но в это время в окно постучали, и он, не поняв, что это пришли по его душу, и решив, что шум был случайный, шальной, щелкнул выключателем. Но тревожный свет не зажегся, поселок до сих пор прозябал без электричества, и это было обычным делом, когда дул ветер или падал снег. А сейчас происходило и то, и другое.

Чиркнул спичкой, осветив ходики на стене. Они показывали начало третьего ночи. Все пространство его пятиметровой комнаты занимала железная кровать и платяной шкаф, между которыми нужно было как-то жить и передвигаться. Но Павел Игнатьевич не роптал, потому что привык к тесноте и другого пространства не знал. И если бы его поместили в комнату, предположим, в десять квадратных метров, то он бы в ней заблудился, заплутал и лишь в конце дня добрался бы до желанной кровати. Всю жизнь он провел в трех-четыре метрах индивидуальной жилплощади, сначала в заводском общежитии, теперь – в коммуналке на десять человек. И это было нормально. Тягу к пространству он воплощал в деревянных вещах, заставляя их быть какими угодно. А иных друзей у него не было.

– Кто здесь? – спросил он в темноту.

За окном что-то сказали, но столяр не расслышал.

– Чего надо? – крикнул он, открыв форточку.

– Собирайся! И побыстрее! Шевелись!

Напрягая глаза, он увидел за окном человека в ушанке со звездой во лбу.

– Это ты, товарищ старший лейтенант?

– Сам, что ли, не видишь?! – прокричали ему.

Голос за окном был истеричным, сорванным и выдавал величайшее волнение.

– С вещами?!

– С инструментом! Быстрее, тебе говорят!

И Павел Игнатьевич понял, что случилось нечто необыкновенное, а что именно, не догадался. Он не обиделся, что с ним обращались, как с вещью, он делал эти вещи собственными руками и считал незачем влезть в их шкуру.

– Стамеска нужна? Дрель? Гвоздодер? Фомка?

– Бери все, – был ему из-за окна ответ.

Столяр, вздохнув, натянул на себя штаны без поддува. С поддувом он носил коротким летом, и все равно в них потел за работой, хоть ветерок и забирался в штанины и в обширную, кое-как залатанную прореху между ног. Но сейчас поддува совсем не требовалось, а требовалось противоположное ему свойство – крепкие армейские галифе, придававшие человеку государственную устойчивость, чтоб он не колебался, как поплавок, в своих сомнениях, а твердо следовал общей линии борьбы за всех.

В углу его конуры стоял деревянный лоток с гвоздями, сверлами и прочей металлической мишурой. Положив в него молоток и короткую пилу, Павел Игнатьевич расчесал ладонью всклокоченные волосы.

Потом, исходя из практических целей, заглянул в ведро, стоявшее на полу, в котором находилась квашеная капуста. Положил в рот соленую горсть, взял сверху липкий, слюнявый огурец, откусил половину, а остальное спрятал в карман штанов, тяжелых и широких, словно сделанных из картона.

Накинув на плечи ватник, пошел в коридор...

6

Мело, мело по всей земле. Кроме метели, глаза не видели ничего. Ноги сами угадывали узкую протоптанную дорожку меж сугробами, которые дотягивались до окон одноэтажных домов. У них, у ног было свое отдельное чувство и свой разум. А все остальное, что водится в человеке, было в такую погоду лишь приложением.

– Что стряслось? – спросил Павел Игнатьевич, низко пригибая крупную голову и рассекая ветер кроличьей шапкой.

– А черт его знает, что, – сказал старший лейтенант и замолчал.

Столяр некоторое время ждал продолжения, а потом все же напомнил о своем присутствии:

– А все-таки?

– Провокация, – ответил ему милиционер.

– Ясно, – сказал Павел Игнатьевич.

Помолчав, предположил:

– Американцы?

Послушал, как гудит в ушах пурга. И опять любопытствовал:

– А откуда они здесь?

– Неизвестно. Может, оттуда, – и милиционер показал головой на черное небо.

– Так у нас же перехватчики есть, – возразил ему на это столяр.

– Замолчи! – попросил его старший лейтенант. – Иначе я за себя не ручаюсь, понял?

– Пристрелишь, что ли?

Ответа не последовало, но можно было предположить, что да, именно так, пристрелит...

– Ладно, – согласился Павел Игнатьевич и, подумав, добавил: – Стреляй. А далеко ли идти?

Старший лейтенант опять смолчал.

Они свернули на улицу Чкалова и подошли к дому, у которого стояла машина «скорой помощи» и милицейский «воронок».

Здесь было тревожно и явно что-то происходило. Не станет милиция дежурить вместе со «скорой», но Павел Игнатьевич не подал виду, хотя и спугнуть предстоящую работу было не грех – милиция все равно ничего за нее не заплатит.

Дом был черный, как ночь в южных широтах. Лишь на стеклах лежал медовый отблеск горящей внутри керосинки. Несколько зевак стояли поодаль и близоруко таращились в темноту. Завыла собака, как будто в доме был покойник или что-нибудь еще, значительно хуже.

– ...Какие же это американцы? – спросил, войдя в избу, Павел Игнатьевич. – Это же Танька Скрипникова!

Из угла вдруг раздался плач, похожий на вой. Павел Игнатьевич взглянул туда и увидел тетю Клаву. Столяр близко не знал ее, но все равно пожалел, потому что если человек плачет, то его надобно жалеть, а не жалеют только живодееры и фашисты.

У догорающей печки стояла знакомая ему Татьяна в своем голубом крепдешиновом платье и туфлях на высоких каблуках, прижимая к груди какую-то черную закопченную доску. Глаза ее были закрыты, а веки, как показалось Павлу Игнатьевичу, слегка почернели.

Около нее колдовала молоденькая врачиха со «скорой помощи» и небритый недовольный медбрат. Тут же топтались два невыспавшихся милиционера.

Павел Игнатьевич увидел, как юная врачиха пытается сделать в руку Тани укол. Протерла кожу спиртом, выпустила из шприца струйку жидкости, проверяя напор, попыталась вколоть

иглу... Над верхней губой у врачихи росли небольшие усики. Игла согнулась, образовав угол в 90 градусов.

Столяр отметил про себя, что сам никогда не работает так халтурно. Уж если он берет в руки рубанок, то это будет рубанок, а не какой-нибудь там отвес или уровень, и ничего у него не согнется, и все будет точно, как в аптеке. Он почувствовал мимолетную гордость за самого себя. Эта гордость приходила к нему довольно часто, может быть, из-за нее он и остался до седых лет бобылем. Озадачивало лишь то, что Танька никак не прореагировала на эту сломанную иглу.

На лбу у врачихи выступил пот. Губы затряслись от собственного бессилия. Кто-то из милиционеров нервно и громко вздохнул.

– А вы б ее положили на кровать, – предложил Павел Игнатьевич. – Удобней ведь будет.

– А ее *можно* положить? – спросил его старший лейтенант, который и привел сюда. – Ты в этом уверен?

Дядя Паша поставил свой инструмент на пол и подошел к стоящей со словами:

– Хватит дурить, Танька... Чего уж тут!

Попытался сдвинуть ее с места... Тщетно. Она была, как из камня, тяжелая и твердая.

– Холод! – он озадаченно отдернул от нее свои руки.

– Не трогайте больную! – заорала на него врачиха. – Не видите, у несчастной – столбняк!

– А разве при столбняке бывает *такое* одеревенение тканей? – подал голос медбрат.

– *Такого* не бывает, – согласилась врачиха.

Она вытащила из сумочки аппарат для измерения кровяного давления. Надела на правую руку Татьяны, которая стояла, словно статуя, не открывая глаз.

Накачала манжету и стала слушать сигнал через фонендоскоп.

– Девяносто на семьдесят, – сказала она, снимая наушники. – Пониженное.

– И что это значит? – спросил ее медбрат.

– Это значит, это значит...

Она достала какую-то книжку из своей сумки и начала ее судорожно листать.

Закусила губу, смутившись и покраснев от стыда за полное свое бессилие. «Ясно, – подумал про себя столяр. – Выпускница или практикантка. Кого теперь на „скорые“ ставят, прости господи...»

– Распилить деревяшку можешь? – предложил ему старший лейтенант, имея в виду то, что она зажала в своих руках.

– Так это ж икона.

– Ну и что? Она ж ее не отдает. Распилим и по кускам вытащим.

– Нет, – сказал столяр. – Я икону пилить не намерен.

– Ты что, религиозник?!

– Не религиозник. Но иконы не пилю, – ответил твердо Павел Игнатьевич, потому что он был человек с устоями, как большинство столяров. А тех, кто возился с железом, фрезеровщиков всяких, он считал людьми без принципов.

– При чем здесь икона? Ее нужно срочно госпитализировать, – подала голос врачиха. – Больная находится в глубокой коме.

– А оторвать ее от пола нельзя? – поинтересовался вдруг Павел Игнатьевич.

Ему не ответили.

– Ну а если подрубить пол?

– Руби скорее! – закричал старший лейтенант. – Для этого тебя и позвали, дурака!

– Ладно, ладно... Ты не кричи, начальник... – засуетился столяр.

Взял в руки топор и глянул мельком в лицо Татьяны. Оно было мертвенно-бледным, глаза по-прежнему закрыты.

– А если полотенцем ее укутать? А то страшно больно...

– Есть полотенце, мать? – спросил у Клавдии милиционер.

Та беззвучно раскачивалась на табуретке и ничего не отвечала.

– Сумасшедший дом! – потерял терпение старший лейтенант.

Стянул с печи кусок ситца, который прежде служил занавеской, и прикрыл Татьяну, как паранджой.

Павлу Игнатьевичу сделалось легче. Теперь больная была укутана сверху по пояс, и лицом своим, болезненным и омертвелым, не мешала работать.

Взял в руки топор и со всего маху ударил по доскам. На них остался лишь легкий след, похожий на царапину.

– Из чего у вас полы сделаны? – обратился он недовольно к Клавдии Ивановне. – Из дуба, что ли? –

Ударил еще и еще...

– Не из дуба, – проворчал Павел Игнатьевич. – Видать, из мертвого дерева... Ну да... – Он потрогал пальцем лезвие. – Уже затупился...

– Ты будешь работать или нет?! – закричал на него старший лейтенант.

– Буду, – пробормотал столяр. – Только чудно мне... Топорище третьего дня затачивал, а уже – тупое.

– Вы какую-нибудь молитву знаете?.. – спросил между тем медбрат старшего лейтенанта.

Тот посмотрел на него мутным взглядом.

– Можно клятву Гиппократы прочесть, – подала тоненький голос врачиха. – А вдруг поможет?

Но не прочла, а только пообещала.

Взяв в руки долото, столяр ударил его молотком. Просунул в образовавшееся отверстие стамеску и попытался сделать первый распил. Но, может быть, от волнения сунул не совсем удачно, – металл звякнул, дернулся, как струна у скрипача, и стамеска переломилась надвое.

Павел Игнатьевич озадаченно поглядел на дело рук своих.

– Иди отсюда, – сказал ему душевно старший лейтенант.

– Она ж финская... Американка моя... – пробормотал столяр. – Это ж на века... Такого не бывает! Я ею железо резал!

– Все! Выметайся вон! – заорал милиционер и, приставив к носу кулак, прошептал: – А будешь трепаться обо всем этом – посажу!

Почесывая затылок, в полном недоумении и прострации Павел Игнатьевич вышел на мороз.

Светало. У дома на Чкаловской собралась уже небольшая толпа людей. Павел Игнатьевич вынул из кармана ватных штанов остаток огурца и смачно его сжевал.

– Чего там? – спросила у столяра какая-то баба. – Зарезали кого?

– Да так. Чудеса всякие, – уклончиво ответил столяр.

– А какие чудеса?

– А такие. Американку мою знаешь? Финскую? Ну вот. Переломилась с первого раза. А ведь железо ею пилил. А тут – по дереву. И – р-раз, пополам.

– Да разве это чудо? – не согласился с ним худой мужик с головой, замотанной шарфом.

– А тебе – мало? – разгорячился Павел Игнатьевич. – Американка... Финская! И – пополам! Каких тебе еще чудес?

И пошел на красный рассвет в свою пятиметровую клетушку, бормоча под нос:

– Американка... Финская... И – пополам!.. Каленая... финская... Р-раз, и нету!

День начался неудачно.

ФЕВРАЛЬ

1

– Тебя главный вызывает, – сказал Николаю Николаевичу Пашка Рыбников, младший редактор, который по совместительству исполнял в газете еще обязанности корректора.

Николай Николаевич оторвал мутный взгляд от старенького, латаного-перелатаного «Ундервуда», на котором набирал очередную статью-фельетон с названием «А крыша-то с дырой!» о негодном коровнике совхоза «Московский», и уставился невидящими глазами на своего напарника.

– Зачем?

– Да разве он скажет. Поди, услать тебя куда-то хочет.

– Не поеду, – ответил Николай Николаевич. – Мне эти командировки – во!

И он провел ладонью по своему горлу.

Комната, в которой они сидели, давно не ремонтировалась. Из-под облупленных стен смотрела на свет деревянная арматура в клеточку. Чтобы как-то скрасить убожество здания областной газеты, на место одной из пробоин повесили фотографию Дуайта Эйзенхауэра с пририсованными к голове ветвистыми рогами. Сам Дуайт от этого начал походить скорее не на черта, а на древнего рыцаря-крестоносца, который смотрит на Восток с сомнением, латинизировать ли его или все обратить в прах.

– Ездить все-таки лучше, – сказал Пашка, – чем читать ваши статейки про надои-удои... Как, кстати, правильно – надои или удои?

– Всегда писали «надои»...

– А я сомневаюсь. Разве что у Даля посмотреть?

Напарник вдруг прервался и приложил указательный палец к губам. Внимательно прислушался, наклонившись к пробоине, которую закрывал собою, как Матросов, американский президент.

– ...Светочка или Нюшечка? – прошептал Пашка, задавая вопрос Николаю.

– Светочка, – предположил тот.

Пашка отодвинул фотографию Эйзенхауэра вбок и заглянул в пробоину.

– ...тетя Люда! – со смехом сообщил он.

За стеной обрушился водопад спускаемой в унитазе воды.

– У тебя чеснок есть? – поинтересовался устало Николай. – Не трепись, а дай чеснока.

Он приставил ладонь к собственному рту, дыхнул и скривился.

– Амбрешка?.. Пить не надо на ночь... Сейчас посмотрю...

Паша пошел на свое рабочее место в углу кабинета, в котором стоял большой несгораемый сейф. Щелкнул ключом, открывая тяжелую металлическую дверцу. Внутри темной таинственной глубины стояла початая бутылка трехзвездочного армянского коньяка, рядом с которой находилось блюдечко с ломтиком засохшего лимона и чахлой головкой чеснока.

– Держи, – и Паша передал чеснок Николаю.

Тот храбро куснул головку, и аж слезы выступили на глазах.

– Теперь от тебя будет разить, как от колбасы, – сказал Пашка.

– Все, пошел. – И Николай тяжело двинулся к двери. – Может, уволит? – предположил он с тоской. – Дал бы Бог. Надоело все... – Он махнул рукой и вышел в коридор.

А там было, как говорят в народе, хоть топор вешай, то есть ничего не видно из-за тумана-смога от славных советских папирос. Я помню эти редакции, в которых раньше бывал частенько: сотрудники пробираются по коридору ощупью, и на плечах лежит заслуженный пепел.

– Артемьев! – крикнули ему в спину. – Деньги для кассы взаимопомощи!

Николай оглянулся.

...Она неслась на него, как танк, гремя каблуками по паркетному полу, разгоряченная, красная, готовая на все. Подмышки у ее блузки запотели.

– Ничего нету, Галя. – Николай для достоверности обшарил на ходу карманы и даже вывернул наружу один из них. – ... До зарплаты еще неделя!

В кармане его были явственно видны табачные крошки.

– Так ты и в зарплату ничего не даешь, – сказала профсоюзница Галина Федоровна.

И здесь, как назло, каблук у нее подвернулся и отлетел в сторону. Тело ее, плотное и горячее, наклонилось и чуть не грохнулось на пол.

– Вот черт! – вскрикнула она в тоске. – Туфли новые! Модельные! Фабрика «Парижская коммуна»!

– Отдам... Все отдам. Все у меня заберите! – с раздражением сказал ей Николай.

Она же, сев на грязный паркет, приставила отломанный каблук к подошве.

– Что теперь делать? Может, склеить чем-то?

– Какая-то смола помогает, – посоветовал ей Коля. – Боксидная или эбоксидная... Я в точности не знаю.

Она вдруг заплакала, громко и наивно, словно ребенок. Ей оставалось дотянуть только двадцать лет, всего лишь двадцать, когда в Москве вдруг появится обувь – австрийская, французская и просто хорошая, купленная государством на газовые деньги. Итальянские сапоги из голубой нежной кожи, как веки у девственницы, ценою в 120 рублей... И еще билет до Москвы в один конец – 25 рублей, и вся зарплата вылетает за одну поездку, и живешь остальное время на кипятке. Но зато в сапогах, голубых, итальянских! Сейчас уже нет таких, как были в конце семидесятых, когда изможденные русские женщины вдруг вздохнули полной грудью, нет и никогда не будет. И всего дотянуть до этого времени двадцать лет... Всего лишь двадцать! Правда, британские туфельки-лодочки появятся уже через год, в международный фестиваль молодежи и студентов. Но кто это прозреет?

Не зная, чем ее утешить, Николай Николаевич толкнул кожаную дверь и вошел в кабинет-усыпальницу главного редактора.

– Альберт Витальевич... Можно?

2

В послевоенные времена и ближе к брежневскому «застою» было три типа главных редакторов. Одни сразу вербовали в стукачи, спрашивая у начинающего автора: «А правда ли, что *имярек* видит нашу жизнь через очко унитаза? Вы, надеюсь, согласны?...» Другие поили шотландским виски, привезенным из творческой командировки. Третьи, самые искренние, клялись, что лягут на вашем пути трупом, но в литературу не впустят. Кто из них был прав? По-видимому, третьи. Но в такой кабинет, в какой вошел мой Артемьев, я, пожалуй, не заходил никогда.

Главный сидел под портретом лысоватого расторопного человека, избранного недавно Первым секретарем ЦК КПСС, но известного еще ранее, с достославных времен усатого генералиссимуса, перед которым лысоватый танцевал иногда гопачок, поднимал народные тосты, пел песню «Дивлюсь я на небо...», ибо считался в партийных кругах патентованным и неисправимым украинцем. В его чертах, несмотря на лысину, было что-то детское, как будто ребенка, по сути, сорвали вдруг с насиженного места и кинули сразу в кресло Политического бюро. Эту странность в облике Первого и передавал, как мог, казенный портрет.

В углу просторного кабинета стоял точильный станок, над которым колдовал заросший волосами человек восточного вида. В его руках находился столовый нож, и косматый приставлял его к вращающемуся кремню, нажимая ногой на педаль. Из-под железа летели ленинские искры. Станок издавал отвратительный визжащий звук, как будто сотню котов одновременно тянули за хвосты. Тогда эти точильщики ходили всюду – по домам, по скверам, по стадионам и баням. Просыпаясь утром, еще не продрал глаза, а через форточку уже несется снизу энергичный голос: «Ножи и ножницы починять! Починять, затачивать, наострить!...»

– Чем занят? – спросил Альберт душевно, принюхиваясь к воздуху, который принес с собою Николай Николаевич.

– Фельетон добиваю. О коровнике совхоза «Московский».

– Бросай. Есть более важная тема...

Главный обернулся, потому что станок неожиданно замолк.

– Другой давай, – сказал главному косматый, отдавая заточенный нож.

Альберт Витальевич пощупал пальцем лезвие, положил нож на стол и отдал точильщику другой, приспособленный для разрезания газетных листов.

Станок включился, возобновляя пытку, и комната опять наполнилась визжащим гулом.

– Из буфета, что ли? – спросил Николая главный, принюхиваясь.

– Так точно. Колбасу ел, «чайную»... – соврал Николай.

– Ну да, ну да, – согласился Альберт. – А «одесской» там случайно не было?

– «Одесскую», говорят, привезут в конце недели.

Альберт заметно поскущел и о чем-то призадумался. Может быть, он размышлял о том, почему чеснок кладут именно в «чайную», почему кому-то удобен чай с чесноком, а, например, в «докторской», которую завозили в газету лишь по большим праздникам, этого чеснока не обнаружишь. Хотя должно быть наоборот, учитывая его лечебные свойства...

– Ты как относишься к религии? – спросил он после паузы, неожиданно ощутив беспричинную злость.

– Как все. А что? – насторожился Николай Николаевич, понимая, что теперь они коснулись самого важного.

– Они совсем разошлись.

– Кто?

– Религиозники-изуверы. Бесчинствуют, жируют. Пропагандируют всякий вздор... – отчего-то он указал на точильщика.

Тот согласно кивнул косматой головой.

– Да, – на всякий случай согласился Николай Николаевич, проследив за его взглядом. – Изуверы еще встречаются. А где именно они жируют?

– Да в Гречанске, – неохотно сказал Альберт Витальевич.

Здесь Николай не удержался и прыснул.

– Ты чего это? Не понял, – отреагировал главный.

– Я был там в декабре, в этом Гречанске, по вашему же заданию, – пояснил Николай. – Дыра страшная. И нет там никаких изуверов.

– Правильно. В декабре они тихо сидели. А вот в январе разошлись. Кстати, а почему этот город называется Гречанском, ты выяснил?

Николай промолчал. На этот счет он слышал несколько мнений. Одни говорили, что название слободы произошло от гречки, которую сеяли там со времен Екатерины. Другие утверждали, что при недавних раскопках какого-то слободского кургана археологи обнаружили внутри несколько древнегреческих монет. Но он не стал знакомить главного с этой фантастикой, а бухнул ему же на зло:

– Говорят, что там бывал когда-то Николай Греч...

– Так, так... Греч и Булгарин? – неожиданно оживился главный. – Пушкинские враги? Что ж они потеряли в такой глуши?

– Неизвестно. Может быть, не потеряли, а нашли, – попытался скаламбурить Николай, чувствуя, что глупость про Греча несколько разрядила обстановку в кабинете. – Так что там, с изуверами?

– Страшный суд скоро наступит, слышал? – бесцветно спросил своего подчиненного Альберт Витальевич.

Николай мельком взглянул в глаза своему начальнику. Отметил его опухшие веки и нездоровый цвет лица, подумал нехстати: «А ведь помрет скоро. Может, еще быстрее меня...»

– Слышал, – согласился он на всякий случай. – Но нас привлекают как свидетелей...

– Гречанск гудит и стонет, – игнорировал его юмор главный. – Кто-то распускает слухи, что все грешники окаменеют и будут стоять наподобие жены Лота. Что будто бы одна девица уже стоит, но, вопреки ожиданиям, в Пасху воскреснет в новой плоти...

Здесь станок прекратил визжать, потому что точильщик перестал нажимать ногой на педаль и весь обратился в слух.

– Жена Лота – комсомолка? – поинтересовался Николай.

– В каком смысле?

– В смысле окаменевшей девицы. Я про нее спрашиваю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.